

Н.Г. Долинина

## 6. Простимся дружно, О юность легкая моя!

Там, где дни облачны и кратки,  
Родится племя, которому умирать не больно.

*Петрарка*

Эпиграф к шестой главе разбивает все наши надежды. Так нелепа и — внешне, во всяком случае, — незначительна ссора Онегина и Ленского, что нам хочется верить: все еще обойдется, друзья помиряются, Ленский женится на своей Ольге... Эпиграф исключает благополучный исход. Дуэль состоится, кто-то из друзей погибнет. Но кто? Даже самому неискушенному читателю ясно: погибнет Ленский. Пушкин незаметно, исподволь подготовил нас к этой мысли.

Случайная ссора — только повод для дуэли, а причина ее, причина гибели Ленского гораздо глубже, мы уже говорили о ней: Ленский с его наивным, розовым миром не может выдержать столкновения с жизнью. Онегин, в свою очередь, не в силах противостоять общепринятой морали, но об этом речь впереди.

События развиваются своим чередом, и ничто уже не может остановить их. А внешне ничего особенного еще не произошло: Ленский уехал домой, но ни Онегин, ни Ольга не придают этому значения. Онегин доволен своим мщением и не помышляет о последствиях, «Оленька зевала, глазами Ленского искала»...

Бал кончился, но дом Лариных еще полон чудовищами:

Все успокоилось: в гостиной  
Храпит тяжелый Пустяков  
С своей тяжелой половиной,  
Гвоздин, Буянов, Петушков  
И Флянов, не совсем здоровый,  
На стульях улеглись в столовой.. .

Кто может помешать дуэли? Кому есть дело до нее? Все равнодушны, все заняты собой. Одна Татьяна страдает, предчувствуя беду, но и ей не дано угадать все размеры предстоящего несчастья, она только томится, «тревожит ее ревнивая тоска, как будто хладная рука ей сердце жмет, как будто бездна под ней чернеет и шумит...»

В ссору Онегина и Ленского вступает сила, которую уже нельзя повернуть вспять, — сила «общественного мнения». Носитель этой силы ненавистен Пушкину больше, чем Пустяков, Гвоздин, даже Флянов, — те только ничтожества, угнетатели, взяточники, шуты, а теперь перед нами — убийца, палач:

Зарецкий, некогда буян,  
Картежной шайки атаман,  
Глава повес, трибун трактирный,  
Теперь же добрый и простой  
Отец семейства холостой,  
Надежный друг, помещик мирный  
И даже честный человек:  
Так исправляется наш век!

На таких людях, как Зарецкий, стоит мир Петушковых и Фляновых; он — опора и законодатель этого мира, охранитель его законов и свершитель приговоров. В каждом слове Пушкина о Зарецком звенит ненависть, и мы не можем не разделять ее. Уже самая фамилия Зарецкого напоминает о грибоедовском Загорецком и его характеристике: «глушишка он, картежник, вор... при нем остерегись: переносить горазд и в карты не садись:

продаст». Поначалу пушкинская характеристика как будто просто продолжает грибоедовскую: «некогда буйан, картежной шайки атаман, глава повес...» — но дальше Пушкин приоткрывает такие глубины мерзости, которые даже грибоедовскому герою не снились. Как много можно сказать в двух словах! Трибун — это блестящий оратор, человек, ведущий за собой единомышленников на битву за высокие идеалы; у Пушкина Зарецкий — трибун трактирный... Если трибун — то трактирный, если отец семейства — то холостой, если «надежный друг, помещик мирный» — то в следующей строчке: «и даже честный человек» — такова сила пушкинского сарказма, что это даже убивает все предыдущие слова. Все противоестественно, античеловечно в Зарецком, и нас уже не удивляет следующая строфа, в которой выясняется, что и храбрость Зарецкого «злая», что «в туз из пистолета» он умеет попасть, но

...в сраженье  
Раз в настоящем упоенье  
Он отличился, смело в грязь  
С коня калмыцкого свалясь,  
Как зюзя пьяный, и французам  
Достался в плен: драгой залог!

Честь, долг, патриотизм — все это недоступно Зарецкому. Он готов снова попасть в плен, чтобы только опять пьянствовать в долг у французского ресторатора!

Многочисленные уменья Зарецкого — «весело поспорить, остро и тупо отвечать, порой расчетливо смолчать, порой расчетливо повздорить» — все эти уменья подлые, гнусные, но они ценятся тем обществом, в котором и Пушкину приходится жить! Даже Онегин, умный и благородный человек, не избегает Зарецкого: «Не уважая сердца в нем... он с удовольствием, бывало, встречался с ним...»

Исследователи творчества Пушкина видят в Зарецком черты современника Пушкина, называвшего себя одно время его другом, а потом сеявшего клевету на поэта, — графа Федора Толстого, по прозвищу Американец, о котором мы уже говорили. Но в то же время Зарецкий гораздо больше чем просто портрет знакомого Пушкина или даже чем тип современного Пушкину человека из общества. Идет время, меняется жизнь людей, общество, происходят величайшие социальные изменения, а психология человека меняется всего медленней. Когда мы сегодня читаем про Зарецкого, мы, конечно, не видим вокруг себя таких именно людей, но учимся у Пушкина отличать показное благородство от настоящего, честную храбрость от бесчестной, сдержанность чувств — от подлого умолчания, теплоту души — от прикрытого лакированной словесной добротой равнодушия...

А Ленский именно Зарецкому поручает отвезти Онегину «приятный, благородный, короткий вызов иль *картель*». Поэтический Ленский все принимает на веру, искренне убежден в благородстве Зарецкого, считает его «злую храбрость» мужеством, уменье «расчетливо смолчать» — сдержанностью, «расчетливо повздорить» — благородством... Вот эта слепая вера в совершенство мира и людей губит Ленского. Но Онегин! Он-то знает жизнь, он отлично все понимает. Сам говорит себе, что он

Был должен оказать себя  
Не мячиком предрассуждений,  
Не пылким мальчиком, бойцом,  
Но мужем с честью и с умом.

Пушкин подбирает глаголы, очень полно рисующие состояние Онегина: «обвинял себя», «был должен», «он мог бы», «он должен был обезоружить младое сердце...» Но почему все эти глаголы стоят в прошедшем времени? Ведь еще можно поехать к Ленскому, объясниться, забыть вражду — еще не поздно... Нет, поздно! Вот мысли Онегина:

«...в это дело  
Вмешался старый дуэлист;  
Он зол, он сплетник, он речист...  
Конечно, быть должно презренью

Ценой его забавных слов,  
Но шепот, хохотня глупцов...»

Так думает Онегин. А Пушкин объясняет с болью и ненавистью:

И вот общественное мненье!  
Пружина чести, наш кумир!  
И вот на чем вертится мир!

Пушкин не любит нагромождения восклицательных знаков. Но здесь он венчает ими подряд три строки: вся его мука, все негодование — в этих трех восклицательных знаках подряд. Вот что руководит людьми: шепот, хохотня глупцов — от этого зависит жизнь человека! Ужасно жить в мире, который вертится на злой болтовне!

«Наедине с своей душой» Онегин все понимал. Но в том-то и беда, что умение остаться наедине со своей совестью, «на тайный суд тебя призвав», и поступить так, как велит совесть, — это редкое умение. Для него нужно мужество, которого нет у Евгения. Судьями оказываются Пустяковы и Буяновы с их низкой моралью, выступить против которой Онегин не смеет.

Строчка «И вот общественное мненье» — прямая цитата из Грибоедова, Пушкин ссылается на «Горе от ума» в примечании. Но и предыдущая строчка отсылает читателя к монологу Чацкого:

Поверили глупцы, другим передают,  
Старухи вмиг тревогу бьют —  
И вот общественное мненье!

Мир, убивший душу Чацкого, всей своей тяжестью наваливается теперь на Онегина. И нет у него нравственных сил, чтобы противостоять этому миру, — он сдаётся.

Ленский всего этого не понимает. Нарастает трагедия, а Ленский все еще играет в жизнь, как ребенок играет в войну, похороны, свадьбу, — и Пушкин с горькой иронией рассказывает об игре Ленского:

Теперь ревнивцу то-то праздник!  
Он все боялся, чтоб проказник  
Не отшутился как-нибудь,  
Уловку выдумав и грудь  
Отворотив от пистолета.

Ленский и будущую дуэль видит в романтическом, книжном свете: обязательно «грудь» под пистолетом. А Пушкин знает, как оно бывает в жизни, проще и грубей: противник метит «в ляжку иль в висок» — и это земное слово «ляжка» звучит страшно, потому что подчеркивает пропасть между жизнью, как она есть, и представлениями Ленского.

И все-таки, если смотреть на вещи нормальными человеческими глазами, еще не поздно. Вот Ленский едет к Ольге — и убеждается, что она вовсе ему не изменила, что она

Резва, беспечна, весела,  
Ну точно та же, как была.

Ольга ничего не понимает, ничего не предчувствует, наивно спрашивает Ленского, зачем он так рано скрылся с бала...

Все чувства в Ленском помutilись,  
И молча он повесил нос...

Романтический герой, каким видит себя Ленский, не может вешать носа — он должен заворачиваться в черный плащ и уходить, непонятый, гордый, таинственный... Но Ленский на самом деле — просто влюбленный мальчик, который не хотел видеть Ольгу перед дуэлью, а все-таки сам не заметил, как «очутился у соседок»; который «вешает нос» от малейшей неприятности, — таков он есть, таким видит его Пушкин. А самому себе он

кажется совсем другим — грозным мстителем, который может простить Ольгу, но Онегина никогда:

Не потерплю, чтоб развратитель...  
...  
Младое сердце искушал;  
Чтоб червь презренный, ядовитый  
Точил лилеи стебелек...

Все эти громкие фразы Пушкин переводит на русский язык просто и в то же время трагически:

Все это значило, друзья:  
С приятелем стреляюсь я.

Вот так оно и бывает в жизни: надвигаются страшные события, их можно изменить, если люди приложат к этому усилия, но усилия не прикладываются — и события происходят неотвратно. Если бы Ленский знал о любви Татьяны... Если бы Татьяна знала о назначенной назавтра дуэли... Если бы хоть няня сообразила рассказать Ольге, а та — Ленскому о письме Татьяны... Если бы Онегин преодолел свой страх перед общественным мнением... Ни одно из этих «если бы» не осуществилось.

Петр Ильич Чайковский — замечательный композитор, и опера его «Евгений Онегин» — прекрасное музыкальное произведение. Но, если мы хотим понять всю глубину пушкинского романа, нам непременно надо забыть либретто оперы — оно обедняет, а кое-где и прямо искажает текст Пушкина. Так происходит прежде всего с Ленским. В опере Ленский подан глубоко всерьез. Он стоит на авансцене в черном одеянии, снег падает на его плечи, и волшебная музыка заставляет нас не вслушиваться в стихи, которые он поет. В романе — все иначе. Пушкин сознательно снимает всякую романтическую окраску с поведения Ленского перед дуэлью:

Домой приехав, пистолеты  
Он осмотрел, потом вложил  
Опять их в ящик и, раздетый,  
При свечке, Шиллера открыл. ..

Что еще может читать перед дуэлью Ленский, кроме как духовного отца всех романтиков — Шиллера? Так полагается по игре, в которую он играет сам с собой, но читать ему не хочется:

Владимир книгу закрывает,  
Берет перо; его стихи  
Полны любовной чепухи,  
Звучат и льются. Их читает  
Он вслух, в лирическом жару,  
Как Дельвиг пьяный на пиру.

Ведь Пушкин любит и жалеет своего героя, почему же он так странно говорит о его предсмертных стихах: «полны любовной чепухи», да еще и читает он их, «как Дельвиг»; это вызывает симпатию к Ленскому — но «как Дельвиг пьяный на пиру» — тут ведь уже насмешка слышится! И дальше Пушкин опять скажет шутливо:

Стихи на случай сохранились;  
Я их имею; вот они:  
«Куда, куда вы удалились,  
Весны моей златые дни?..»

Пушкин написал за Ленского блистательное романтическое стихотворение — так думают некоторые литературоведы до сих пор. Так полагал, видимо, и Чайковский, раз эти стихи вдохновили его на серьезную и грустную музыку. Так думал и Лермонтов: ведь он, в сущности, приравнивает к Ленскому самого Пушкина:

И он убит — и взят могилой,  
 Как тот певец, неведомый, но милый,  
 Добыча ревности глухой,  
 Воспетый им с такою чудной силой...

(Лермонтов. «Смерть Поэта»)

Для Лермонтова, который сам был еще в 1837 году поэтом-романтиком, такое восприятие стихов Ленского естественно. Но сегодня с этими стихами, на мой взгляд, происходит недоразумение.

Как можно не видеть в этих стихах пародии на романтизм? Они не только введены в роман насмешливо — об этом мы уже говорили, — но и самые стихи по своим поэтическим достоинствам невозможны, неприемлемы для зрелого Пушкина,

В молодости Пушкин сам мог бы писать так туманно, неопределенно: «в глубокой мгле таится он» (день); но и тогда Пушкин старался не употреблять привычных, стертых, много раз употреблявшихся другими поэтами слов и образов. А у Ленского — подряд: золотые дни, день грядущий, судьбы закон, луч денницы, таинственная сень, ранняя урна, рассвет печальный жизни бурной...

Зрелый же Пушкин, автор пяти глав «Онегина» и «Бориса Годунова», давно отошел и от того стиля, и от тех слов, которые употребляет Ленский. Через несколько строф мы увидим, как Пушкин точно и зорко описывает дуэль, а Ленский, только что осмотрев пистолеты, пишет: «паду ли я, стрелой пронзенный»; ему точность описаний не важна.

Пушкин не просто написал за Ленского стихи, но и ясно выразил свое отношение к ним. Он еще раз подчеркивает это отношение в строфе XXIII:

Так он писал *темно и вяло*  
 (Что романтизмом мы зовем,  
 Хоть романтизма тут нисколько  
 Не вижу я; да что нам в том?)  
 И наконец перед зарею,  
 Склонясь усталой головою,  
 На модном слове *идеал*  
 Тихонько Ленский задремал...

То литературное направление, которое создал Пушкин, гораздо позднее стали называть критическим реализмом. Сам Пушкин называл его «истинным романтизмом», поэтому он и пишет, что не видит в стихах Ленского «романтизма... нисколько».

Так что же, Пушкин не любит Ленского, только и знает, что смеяться над ним, не верит его чувствам? Нет, конечно, И любит, и верит. Ленский предельно искренен в своих стихах, но искренности еще мало для того, чтобы создавать настоящее искусство. Поэзия Ленского несамостоятельна — это первый ее недостаток. Но и те высшие образцы, которым подражает молодой поэт, Пушкина не устраивают. В начале двадцатых годов Пушкин пользовался теми же рифмами, теми же поэтическими приемами, что и Ленский. Ведь и «Руслан и Людмила» и «Кавказский пленник», «Братья-разбойники», «Бахчисарайский фонтан» — романтические поэмы. Но уже в «Цыганах» Пушкин развенчал романтического героя, а теперь выступает против самого принципа романтической поэзии, подсмеиваясь над ней.

Ночь, проведенная Ленским перед дуэлью, характерна для мечтателя: Шиллер, стихи, свеча, «модное слово идеал»... Равнодушный Онегин «спал в это время мертвым сном» и проснулся, когда давно пора было выехать к месту дуэли. Собирается Евгений торопливо, но без всяких вздохов и мечтаний, и описывает Пушкин эти сборы очень коротко, четко, подчеркивая бытовые детали:

Он поскорей звонит. Вбегает  
 К нему слуга француз Гильо,  
 Халат и туфли предлагает  
 И подает ему белье...

И вот они встречаются за мельницей — вчерашние друзья. Для секунданта Ленского, Зарецкого, все происходящее нормально, обычно, Он действует по законам своей среды, для него главное — соблюсти форму, отдать дань «приличиям», традиции:

В дуэлях классик и педант,  
Любил методу он из чувства,  
И человека растянуть  
Он позволял не как-нибудь,  
Но в строгих правилах искусства,  
По всем преданьям старины  
(Что похвалить мы в нем должны).

Пожалуй, нигде еще так не прорывалась ненависть Пушкина и к Зарецкому, и ко всему его миру, как в этой последней саркастической строчке: «Что похвалить мы в нем должны...» — что похвалить? И кто должен похвалить? То, что он не позволяет растянуть (страшное какое слово) человека не по правилам?

Удивителен в этой сцене Онегин. Вчера у него не хватило мужества отказаться от дуэли. Его мучила совесть — ведь он подчинился тем самым «строгим правилам искусства», которые так любит Зарецкий. Сегодня он бунтует против «классика и педанта», но как жалок этот бунт! Онегин нарушает всякие правила приличия, взяв в секунданты лакея. «Зарецкий губу закусил», услышав «представление» Онегина, — и Евгений вполне этим удовлетворен. На такое маленькое нарушение законов света у него хватает мужества.

И вот начинается дуэль. Пушкин страшно играет на словах «враг» и «друг». В самом деле, что они теперь, Онегин и Ленский? Уже враги или еще друзья? Они и сами этого не знают.

Враги стоят, иотупя взор.  
Враги! Давно ли друг от друга  
Их жажда крови отвела?  
Давно ль они часы досуга.  
Трапезу, мысли и дела  
Делили дружно? Ныне злобно,  
Врагам наследственным подобно,  
Как в страшном, непонятном сне,  
Они друг другу в тишине  
Готовят гибель хладнокровно...  
Не засмеяться ль им, пока  
Не обагрилась их рука,  
Не разойтись ль полюбовно?..  
Но дико светская вражда  
Бойтся ложного стыда.  
...  
Плащи бросают два врага.  
Зарецкий тридцать два шага  
Отмерил с точностью отменной.  
Друзей развел по крайний след,  
И каждый взял свой пистолет.

Та мысль, к которой Пушкин подводил нас всем ходом событий, теперь сформулирована коротко и точно:

Но дико светская вражда  
Бойтся ложного стыда.

Но ведь Пушкин сам стрелялся с Дантесом! Если он понимал бессмысленность дуэли, почему сам прибегнул к ней? Дуэль Онегина с Ленским имеет только то сходство с дуэлью Пушкина, что она происходит тоже зимой, почти в те же числа на такой же белый снег через десять лет после того, как написана шестая глава, прольется кровь Пушкина. Но причины дуэли разные, хотя, казалось бы, оба поединка происходят из-за

женщины. Даже если не учитывать того, что за спиной Дантеса стоит царский двор, ненавидевший поэта и устроивший его травлю, даже если забыть об этом, Дантес действительно враг Пушкина, он оскорбил жену поэта, а Пушкин — рыцарь, благородная и мужественная личность — не мог примириться с оскорблением. Тут не было никакого ложного стыда, а была оскорбленная честь. В дуэли же Ленского с Онегиным все нелепо, противники до последней минуты не испытывают друг к другу настоящей вражды: «Не засмеяться ль им, пока не обагрилась их рука?» Быть может, нашел бы Онегин в себе смелость засмеяться, протянуть другу руку, переступить через ложный стыд — все повернулось бы иначе. Но Онегин этого не делает, Ленский продолжает свою опасную игру, а в руках у секундантов уже не игрушки:

Вот пистолеты уж блеснули.  
Гремит о шомпол молоток.  
В граненый ствол уходят пули,  
И щелкнул в первый раз курок.

Пушкин описывает приготовления к дуэли с такой точностью, как будто составляет руководство по стрельбе. Если бы мы ничего не знали об оружии пушкинской эпохи и его применении, мы по одному этому описанию могли бы восстановить это оружие: молоток, забивающий шомпол; граненый ствол... «И щелкнул в первый раз курок» — какая безнадежность в этой строчке! В первый раз — когда заряжают, но он щелкнет и во второй раз — во время выстрела...

Вот порох струйкой сероватой  
На полку сыплется. Зубчатый,  
Надежно ввинченный кремь  
Взведен еще.

Мы видели игру слов «враг — друг» в описании подготовки к дуэли. Теперь, когда все уже готово, в последнюю минуту, Пушкин еще раз называет противников друзьями: Зарецкий, с удовольствием выполняя свои обязанности, «друзей развел по крайний след, и каждый взял свой пистолет».

«Теперь сходитесь». Хладнокровно,  
Еще не целя, два врага  
Походкой твердой, тихо, ровно  
Четыре перешли шага,  
Четыре смертные ступени.

Вот теперь они уже окончательно стали врагами. Уже идут, поднимая пистолеты, уже несут смерть... Так долго, так подробно Пушкин описывал подготовку к дуэли, а теперь все происходит с непостижимой быстротой:

Онегин выстрелил... Пробили  
Часы урочные: поэт  
Роняет молча пистолет,  
  
На грудь кладет тихонько руку  
И падает.

Второй раз на протяжении всего романа Пушкин не заканчивает описание события в одной строфе, а резко переносит его в следующую. Так он сообщил нам смятение Татьяны перед свиданием с Онегиным:

И, задыхаясь, на скамью  
Упала...

Так он сообщает о смерти Ленского. Строфа XXX кончается строчкой: «роняет молча пистолет» и запятой — у читателя есть еще надежда: может, только ранен? Но строфа XXXI снимает надежду:

На грудь кладет тихонько руку  
И падает. Туманный взор  
Изображает смерть, не муку.

И вот здесь, перед лицом смерти, Пушкин уже очень серьезен. Когда Ленский был жив, можно было, любя, посмеяться над его наивной мечтательностью. Но теперь случилось непоправимое:

Младой певец  
Нашел безвременный конец!  
Дохнула буря, цвет прекрасный  
Увял на утренней заре,  
Потух огонь на алтаре!..

Те же самые слова, которые так любил бедный романтик: «младой», «буря», «увял», «потух огонь», — Пушкин отдает дань романтическому стилю Ленского, но уже в следующих строках пишет о его смерти по-своему, по-пушкински:

Недвижен он лежал, и странен  
Был томный мир его чела.  
Под грудь он был навывлет ранен;  
Дымясь, из раны кровь текла.

Это не «стрелой пронзенный» — здесь абсолютная, почти научная точность описания: «под грудь он был навывлет ранен» — и вместе с тем та мрачная торжественность, которую несет с собой смерть, высокие слова: «томный мир его чела...»

Тому назад одно мгновенье  
В сем сердце билось вдохновенье,  
Вражда, надежда и любовь,  
Играла жизнь, кипела кровь...

Если умирает старый, больной человек, — все равно ничего не может быть страшнее минуты, когда вот — только что он шевелился, дышал, глаза жили — и нет ничего: недвижим и холоден... Но когда это происходит с молодым, полным сил, только что блиставшим здоровьем и красотой...

Теперь, как в доме опустелом,  
Все в нем и тихо и темно;  
Замолкло навсегда оно.  
Закрыты ставни, окна мелом  
Забелены. Хозяйки нет.  
А где, бог весть. Пропал и след.

Сколько бы я ни перечитывала шестую главу, меня каждый раз заново поражает это сравнение погибшего человека с опустелым домом.

И — главное — сразу за привычными, много раз использованными романтиками сравнениями: «цвет... увял», «потух огонь»...

Мне всегда кажется, что, горюя о Ленском, жалея его, Пушкин в шестой главе еще больше жалеет Онегина.

Приятно дерзкой эпиграммой  
Взбесить оплошного врага;  
Приятно зреть, как он, упрямо  
Склонив бодливые рога,  
Невольно в зеркало глядится  
И узнавать себя стыдится...  
...  
Но отослать его к отцам  
Едва ль приятно будет вам.  
Что ж, если вашим пистолетом  
Сражен приятель молодой..?

Так Пушкин возвращается к словам-антонимам: враг — друг, приятель. Так он, гуманист, разрешает проблему, волнующую людей всегда: имеет ли человек право лишить другого человека жизни? Достойно ли это — испытывать удовлетворение от убийства, даже если убит враг?

Разумеется, Пушкин не говорит здесь об убийстве врага во время войны. Его волнует другое: личная вражда. Поставить врага в унижительное положение — да, это приятно. Но убить его, взять на себя единоличную ответственность за лишение человека жизни — нет! Даже если он твой враг — нет! А если друг?!

Онегин получил суровый, страшный, хотя и необходимый урок. Перед ним — труп друга. Вот теперь окончательно стало ясно, что были они не врагами, а друзьями. Пушкин не только сам понимает мученья Онегина, но и читателя заставляет понять их:

Скажите: вашею душой  
Какое чувство овладеет,  
Когда недвижим, на земле  
Пред вами, с смертью на челе,  
Он постепенно костенеет,  
Когда он глух и молчалив  
На ваш отчаянный призыв?

Онегину невероятно тяжело. Но Зарецкого ничто не мучит.

«Ну что ж? убит», – решил сосед.  
Убит!.. Сим страшным восклицаньем  
Сражен, Онегин с содроганьем  
Отходит и людей зовет.  
Зарецкий бережно кладет  
На сани труп оледенелый;  
Домой везет он страшный клад.  
Ночуя мертвого, храпят  
И бьются кони...

В шести строчках два раза повторяется слово «страшный». Пушкин нагнетает, сознательно усиливает тоску, ужас, охватившие читателя. Вот теперь уже ничего нельзя изменить; то, что произошло, необратимо. И никакие романтические слова так не передали бы ужаса происходящего, как бытовая деталь: «Почуя мертвого, храпят и бьются кони...»

Ленский ушел из жизни, уходит и со страниц романа. Мы уже говорили о том, почему он погиб. Нет места романтике и романтикам в слишком уж трезвом и слишком низменном мире; Пушкин еще раз напоминает об этом, прощаясь с Ленским навсегда. Строфы XXXVI–XXXIX посвящены Ленскому — уже без малейшей шутливой интонации, очень серьезно. Какой был Ленский?

Во цвете радостных надежд,  
Их не свершив еще для света,  
Чуть из младенческих одежд,  
Увял!

Все в нем было прекрасно: «благородное стремление и чувств и мыслей молодых», и «бурные любви желанья, и жажда знаний и труда, и страх порока и стыда», и «сны поэзии святой»... Все это было прекрасно, но так недолговечно...

В последний раз возникает в романе сопутствующая Ленскому стилистическая нота: все эти возвышенные слова — «жаркое волненье», «заветные мечтанья», «признак жизни неземной»... Розовый мир поэта исчезает — он не мог сохраниться в соприкосновении с окружавшим его миром пошлости. Для Ленского возможны были три пути: гибель; разрушение мечтаний — замена их будничной жизнью; и — третий — путь самого Пушкина, пересмотревшего свои романтические увлечения.

Быть может, он для блага мира  
Иль хоть для славы был рожден;  
Его умолкнувшая лира  
Гремучий, непрерывный звон  
В веках поднять могла...

Но путь к славе не легок и не прост; хватило бы у Ленского мудрости, воли, таланта, труда, чтобы идти этим путем?

А может быть и то: поэта  
Обыкновенный ждал удел...  
...  
Во многом он бы изменился,  
Расстался б с музами, женился,  
В деревне, счастлив и рогат,  
Носил бы стеганный халат;  
Узнал бы жизнь на самом деле...  
...  
И наконец в своей постеле  
Скончался б посреди детей,  
Плаксивых баб и лекарей.

Ужасно подумать, что такая судьба могла ждать чернокудрого мечтателя — но что поделать, она не просто возможна, а даже наиболее вероятна. Ведь прочны только выстраданные, проверенные умом, сердцем, делом убеждения, а Ленский-то жил в выдуманном мире, любил выдуманную женщину...

Но что бы ни было, читатель,  
Увы, любовник молодой,  
Поэт, задумчивый мечтатель,  
Убит приятельской рукой!

Какое бы будущее ни предстояло Ленскому, Онегин отнял жизнь у человека, который мог быть счастлив. Пушкин ничего не говорит об Онегине, но мы неотступно думаем о нем. Как ему жить теперь в своем доме, где все напоминает о друге: вот здесь обедали вдвоем, в этой карете ездили к Лариным, об этих книгах говорили, из этого бокала любил он пить вино, здесь у камина сидел вечерами... Сколько должен был Онегин передумать, как истерзать себя за малодушие, за трусость, каким судом осудить?

Пушкин не обвиняет Онегина, а объясняет нам его. Неумение и нежелание думать о других людях обернулось такой роковой ошибкой, что теперь Евгений казнит самого себя. И уже не может не думать о содеянном. Но может не научиться тому, чего раньше не умел: страдать, раскаиваться, мыслить... Так смерть Ленского оказывается толчком к перерождению Онегина. Но оно еще впереди. Пока Пушкин оставляет Онегина на распутье — верный своему принципу предельной краткости, он не рассказывает нам, как Ленского привезли домой, как узнала Ольга, что было с Татьяной...

Все это мы отлично можем себе представить, зная характеры людей, близких Ленскому. А Пушкин не отвечает на наши вопросы:

«Что-то с Ольгой стало?  
В ней сердце долго ли страдало,  
Иль скоро слез прошла пора?  
И где теперь ее сестра?  
И где ж беглец людей и света,  
Красавиц модных модный враг,  
Где этот пасмурный чудаки,  
Убийца юного поэта?»

Пушкин оставляет своих героев, чтобы встретиться с читателем лицом к лицу. Он обещает: «Со временем отчет я вам подробно обо всем отдам, но не теперь». И признается: «Хоть я сердечно люблю героя моего... но мне теперь не до него». Не до него —

потому что настала пора рассказать читателю-другу об очень важных мыслях, чувствах, о новом понимании жизни, которое открылось Пушкину. Именно здесь, в конце шестой главы, после смерти Ленского, Пушкин прощается со своей молодостью. Это понятно: Ленский и есть молодость Пушкина, мечты, романтизм, восторженное отношение к жизни...

Лета к суровой прозе клонят,  
Лета шалунью рифму гонят,  
И я — со вздохом признаюсь —  
За ней ленивей волочусь.

...

Другие, хладные мечты,  
Другие, строгие заботы  
И в шуме света и в тиши  
Тревожат сон моей души.

Плохо это или хорошо, когда уходит молодость, когда появляются «другие, хладные мечты, другие, строгие заботы»? Есть радость и в мудрости, приходящей к человеку в зрелые годы, — если, конечно, она приходит. Ужасна потеря юных идеалов, и мечтаний, когда вместо них ничего не обретаешь; когда жизнь кажется пустой, знакомой и неинтересной...

Так, полдень мой настал, и нужно  
Мне в том сознаться, вижу я.  
Но так и быть: простимся дружно,  
О юность легкая моя!  
Благодарю за наслажденья,  
За грусть, за милые мученья...

Разве легкая была у Пушкина юность? Неприязненное, почти враждебное отношение родного отца, шестилетняя ссылка, нападки литературных врагов, недовольство царя — у Пушкина было достаточно оснований считать свою юность трудной. Но он сам умел внести в свою вовсе не легкую жизнь светлое, веселое, радостное — и с этим умением он вступает в зрелость, об одном мечтая: чтобы сохранилось творчество.

А ты, младое вдохновенье,  
Волнуй мое воображенье...

...

Не дай остыть душе поэта,  
Ожесточиться, очерстветь...

Это написано в середине 1826 года. Не только молодость прошла — погибли и отправлены на каторгу люди, которых он уважал, друзья: нет Рылеева, Пестеля, в Сибири Пущин, Кюхельбекер. И сам он прошел через горе, разлуку, разочарование в людях — прошел и сохранил свою живую душу, и вдохновенье, и даже веселье...